

КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ

«У меня через стенку умер Гоголь»

Его знаменитый педагог Лев Николаевич **Наумов** до сих пор называет своего ученика **Гавриком**, хотя «Гаврику» уже **45 лет**. Мать-пианистка, ученица **Нейгауза**, и отец-художник породили удивительного человека. В **18 лет** он завоевал **первую** премию на конкурсе имени Чайковского — причем **влегкую**, несмотря на весьма **неуклюжий** вид, смешные пубертатные усики и **неумение** артистически утереть **люющий** по лицу пот. В **80-е** Гаврилов **уехал** из страны и стал, кажется, **классическим** скитальцем. В Москве **не играет**. Впрочем, в этом январе **вдруг впервые** дал **необъявленный концерт** в **консерватории**. И вслед за этим — **только что** — выступил с **четырьмя** большими сочинениями для **фортепьяно** с оркестром. **В один вечер!** Их, собственно, **можно** было бы растянуть на **целый** шикарный филармонический **абонемент** «Играет Андрей Гаврилов». В общем, **герой** наш — один из самых известных, но и **самых загадочных** артистов в мире.

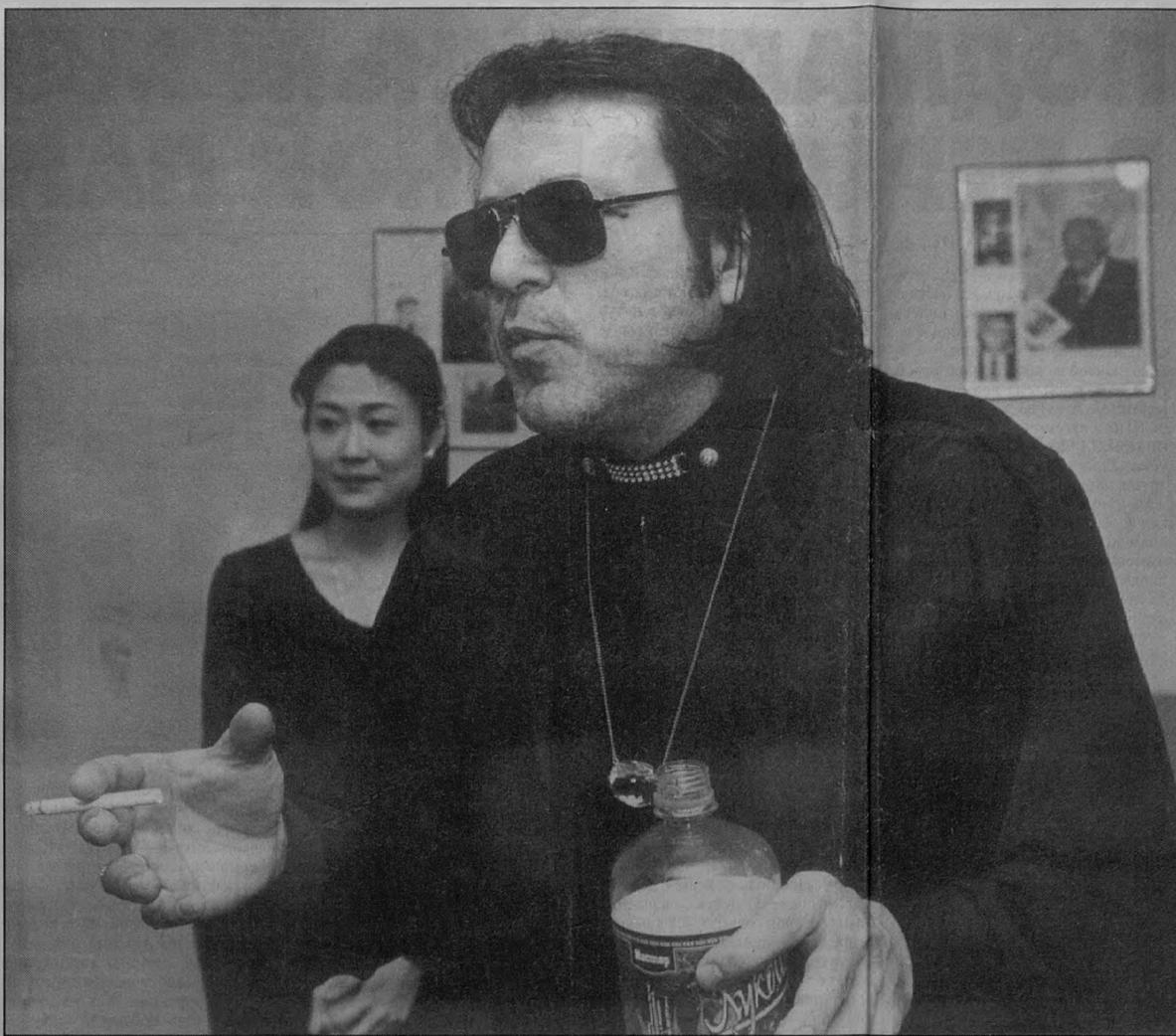


Фото Виктора АХИЛОВА

Андрей ГАВРИЛОВ: *Воскресенье - 2001 - 12.03.01 - С. 7*

ГЛАВНЫМ ПРИЗОВОМ Я ПРИДАВЛИВАЮ ШАШЛЫК В МАРИНАДЕ

— Вы уж очень необычно играли, необычно выглядели, необычно себя вели на сцене. Есть ли какие-нибудь музыканты, которые послужили вам образцом? — Лист. Отчасти Паганини. Очень хочется развивать это направление. — Что значит — это направление? — Я имею в виду громадную отдачу энергии, очень образную передачу содержания. Сильно спресованные чувства. Этим больше занимается поп- и рок-индустрия. Сейчас самая важная для меня идея — соединение энергии великих рок-артистов с мастерством русского и немецкого пианистических школ. На концерте вы и сами видели, как энергетический накал всех сильно зацепил. Мои друзья сказали мне, что такое поведение зала здесь несколько необычно. А для меня это совершенно нормальная реакция на мою игру по всей планете. Но я и не представляю большого выступления в XXI веке, которое не произвело бы такого впечатления. Ведь иначе существование классических музыкантов бессмысленно. И мы просто будем вести культуртрегерскую работу по псевдообъективной интерпретации того или иного композитора. Это при том, что объективного не может быть вообще ничего, кроме факта рождения и смерти. А многие артисты всерьез убеждены, что они — инструменты откровения и приближаются к «объективному» исполнению. У меня такие заявления вызывают только смех. — В каком году вы эмигрировали? — В 84-м в Лондон. — Это была довольно громкая история. Во-первых, вас к тому времени уже включали в сборники вроде «Выдающиеся советские пианисты». А во-вторых, у вас был какой-то высокопоставленный тесть, если не ошибаюсь, по фамилии Алхимов. Он был министром внешней торговли? И у него из-за вас были ужасные неприятности? — Он был кем-то вроде президента Госбанка. Неприятности были. — Но вам было наплевать. — Не могу так сказать. Мы с моей тогдашней женой Наташей вели тонкую дипломатию. Объединили все усилия, используя мою известность в европейских и американских арт-кругах — ведь на 90 процентов моя карьера была сделана там, а не здесь. Тесть тоже использовал свое влияние — вышел на контакт с Михаилом Сергеевичем. Вопрос был решен ко всеобщему миру, и я явил собой первый прецедент свободного советского человека, легко передвигающегося между Западом и Востоком. Через 5-6 месяцев такие же права как не только само собой разумеющееся получили все артисты. Памятника мне, конечно, ни один коллега не воздвиг, но пионером был все-таки я. Кстати, очень таким начинали

горжусь. Моего издеканного друга Рихтера тоже раздражало, что мы живем на улице одностороннего движения. — А что так фамильярно? Скажите еще, что называли Святослава Теофиловича Славой. — Простите, а как же еще? Ведь он же называл меня Андреем, а не Петей. — Где вы познакомились? — Я заменил его на концерте в Зальцбурге. Он узнал о моем успешном выступлении в Туре, и мы стали друзьями до гроба. — А что ж вы на его похороны не приехали? — Не имел документов. — Сейчас вы восстановили российское гражданство? — Я гражданства и не терял. — Как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы не уехали в Лондон, а остались бы здесь? Были бы солистом филармонии? Преподавали бы в консерватории? — Я не могу рассуждать о том, чего не произошло. Вся моя жизнь заключается в том, что я ставлю перед собой цель и достигаю ее. Иначе бы погиб. Это основная черта моего характера. — Расскажите что-нибудь о Рихтере. Теперь уже как бесценный свидетель. Только без демагогии. — Вопрос Рихтера надо отложить лет на двадцать, пока не вымрут все мастодонты. Россия — страна, которая живет сплошными табу, и разрушать эти табу она должна сама. А не господа вроде меня, которые понабрались лоска и свободы в Европе и приехали... Я совершенно не хочу выглядеть таким заезжим поучителем отсталых народных масс. Невозможно сейчас говорить о Рихтере, потому что его эстетические взгляды были связаны в том числе и с гомосексуальной ориентацией, и еще со многими другими отклонениями от советских норм поведения. — Строго ли ваша мама, Ассанетта Меликовна, оценивает вашу игру? — Строго. Но у нас не такие отношения, чтобы мы могли делать друг другу замечания. Мы никогда не занимались поучениями. Больше мы понимали друг друга без слов — потому и дружили. — В молодости вы делали заявления, что собираетесь играть не меньше четырех программ в год. Ну и как? — Иногда играю и шесть, и семь. За последний месяц я сыграл 12 программ. В частности, последнюю — оркестровую — в Лондоне, сольную Баховскую в Амстердаме, вот эти четыре фортепианных концерта за один вечер в Большом зале консерватории, которые вы сейчас сами слышали. — Наумов сидел весь белый. Волновался. — Ну жуежили? — А вы как думали? Столько народу в зале, все знают, что вы

его знаменитый ученик, а вы вдруг взяли бы и облажались. — Учительско-ученические отношения с Наумовым для меня закончились в 1979 году, это большой срок. Я обычно присылаю ему готовую продукцию — аудио- и видеозаписи, чтобы он мог видеть, что я делаю. Его же, наверное, действительно интересует, что его бывший звереныш делает. — Андрей, а почему вы, собственно, не приезжаете? — Я очень занят. Но я приезжал раз семь с августа. К маме сугубо. — А почему не играете? Я понимаю, денег здесь мало платят... — Я концерт играл бесплатно. Я еще в 1986 году в журнале «Шпигель» сказал, что для русских всегда буду играть бесплатно. И держу свое слово. Даже когда бывают денежные затруднения. — А у вас бывают денежные затруднения? — Бывают. Человек я своенравный. Две недели тех или иных устремлений могут обойтись мне в порядочную сумму. Я имею в виду не покупку автомобиля Фор-муль-1. А затраты, связанные, например, с приобретением какой-нибудь философского исследования, интересных или необходимых мне книг. В Лихтенштейне я купил «Материалы для биографии Николая Васильевича Гоголя» Шенрока

— Вы чувствуете от себя какой-то торжественный несповод, зависимость, или для вас она естественная стихия? — Да именно благодаря этой профессии я чувствую огромную свободу и независимость! — Я имею в виду, позвонят — не позвонят, пригласят — не пригласят... — Я вам могу ответить так же пошло, как господин Горюхи когда-то ответил мне: я свою карьеру, молодой человек, уже сделал. И теперь делаю что хочу, где хочу и в тот момент, когда я этого хочу. Я уже напроливал крови, чтобы достигнуть этой свободы. И теперь не завишу ни от агентов, ни от звукозаписывающих фирм. Я в каждой точке планеты чувствую себя как дома. — Как вы думаете, почему Кисин не получил «Грэмми»? — Понятия не имею. — Ну, у нас тут считается, что самый лучший в мире пианист — это Кисин. Не из бывших советских, а вообще. — Вольному воля считать. — А вы его слышали? — В видеозаписи. Это дает общую картину. — Ну прямо... А вы вообще ходите на какие-нибудь концерты? — Очень редко. Мои пристрастия лежат в основном в области драматического театра. В Лондоне,

кестром Нидерландов, который, впрочем, очень популярен. Я отпетировал с дирижером Филиппом Антремоном, пожал всем руки и улетел домой... А однажды я играл с Нью-Йоркским филармоническим оркестром Второй концерт Рахманинова и заснул во второй части. — Что, прямо на сцене? — Ну, это, конечно была маленькая демонстрация: я стал поспавать. А потом и на самом деле уснул. — Если вы срываете концерт, вы же платите большую неустойку. — Плачу. Я же вам говорю, что у меня бывают денежные затруднения. Свобода стоит очень дорого. Не только в спиритуальном отношении, но и в материальном. Хм, свобода, равенство, братство... Помните, у Бродского: «Равенство, брат, исключает братство. В этом следует разобраться». — На вашем концерте мне казалось, что весь фейерверк — для меня одной. Это редкое ощущение. Но разве можно так быстро играть Сен-Санса? В третьей части пришлось искать в кармане валлидол. — Третья часть — это же дявольская рулетка... Весь Второй концерт Сен-Санса — такой офранцузенный вариант коллизии («Ликовой дамы»). Первая часть — шемшая история любви, вторая — уте-

Последней глобальной фигурой в России был Иосиф. Но я боялся личной встречи с Бродским, чтобы друг другу по морде не надавать. Потому что очень мы оба резкие господа

1902 года издания. Он же всю жизнь этому посвятил. Тираж 4 тысячи экземпляров, стоило 18 тысяч долларов. Подлинная рукопись Моцарта мне обойдется в миллион. — А что, Гоголь вас как-то особенно интересует? — Я же в Москве живу в доме, примыкающем к особняку генерала Толстого, где Гоголь умер. У меня через стенку его спальня. — Как это вы так тихо, без объявления, вдруг сыграли в январе в консерватории «Гольдберг-вариации» Баха? — Я приехал в пятницу и сказал директору Большого зала Захарову, что в воскресенье буду играть. Около тысячи человек пришло, а это уже очень серьезно. — Теперь когда вы приедете? — Не могу сказать. Через три дня я вскакываю в большое европейское турне, которое уже началось с Будапештским оркестром Франца Листа. Дирижер Адам Фишер. Есть еще Иван Фишер, его брат. Они близнецы. Оба — великолепные дирижеры.

где я часто живу, — а я еду туда, когда хочу окунуться в жизнь большого города, — выбор очень велик. — Я никак не могу понять, у вас есть дом как таковой? — Громадная вилла между Франкфуртом и Висбаденом. В Хессене. Это самая красивая, на мой взгляд, земля. Это места, где всю жизнь провел Гете, где Достоевский написал свои самые зрелые вещи. Тютчев, Фет — да Бог знает, кого там только не было. — Вы сейчас выступали с оркестром Синайского. Как игралось? Было такое впечатление, что вы оба кайфовали. Может, вы только делали вид, а в действительности все это была пытка. Но скорее все-таки кайфовали, потому что публике не пердалось. — Было точно так, как вы говорите. Мне твердое убеждение: поуфан — но мюзик. Где нет удовольствия — не может быть и музыки. Если бы не было этого самого «фана», я бы вместо концерта сидел в самолете с обратным билетом. У меня так случилось с камерным ор-

хи в Булонском лесу, и третья — кровавая развязка. — Чтобы так феерически легко играть — это сколько ж надо вкалывать? Часов по двенадцать в день? — Мой рекорд — 19 с половиной часов, когда я записывал Баха в 92-м году. У меня была серьезная задача — посоревноваться с Женей Гульдом. — С кем? — С Гленном Гульдом. Он же первый был, кто распродангандировал «Гольдберг-вариации» Баха. Я по-прежнему доволен этой своей записью. Кстати, она тоже получила «Граммофон». И считается лучшей в XX веке. Если уж Гульд это дело инспирировал, надо же было его перенять. А то смысл развития теряется. — Да вы, батенька, философ. — Я серьезно занимаюсь этой наукой. — Не очень-то она сейчас в моде. — Если нет выдающихся людей, это проблема времени.

— Читали Мамардашвили? Сейчас много вышло. — Читал. Но предпочитаю Розанова в его лучших сочинениях. До сегодняшнего дня мне Розанов ближе всего. Если отбросить его терзания по еврейскому вопросу, которые мне совершенно непонятны, и его великорусский шовинизм, который ему самому был в тягость, это самый замечательный ум, с которым боролась Россия. — Вы мальчиком должны были бы еще застать Нейгауза, у которого училась ваша мама. Она не водила вас к нему, чтобы он вас по головке погладил? — Нет. У нас с братом было другое воспитание. Жесточайшее. Почти зверское. По головке нас, может, и гладили, но когда мы спали, чтобы этого не видели. — Ваш брат художник. А художником, если верить вашим лакированным вертеркинским биографиям, мечтали стать вы. Ну и как, рисуете? — Рисую. В данный момент страшно увлекаюсь карикатурами. Это способ отделаться от негативного ощущения. Я рисую карикатуру, рисую и ржу до упаду. Как Зоценко, когда писал. Когда он совсем переставал ржать — сдавал рукопись в редакцию, и на душе становилось спокойно. Замечательный выход сарказму и желчи. — Значит, Зоценко вы тоже читали... А вы за нашим, так сказать, литературным процессом следите? Ну там, Сорокин, Пелевин... — Я же очень внимательный, любопытный, настырный господин. Всегда голодный до информации, особенно гуманитарной. Сорокин и Пелевин — это мне не интересно. И Акунин абсолютно — это очень типичное советско-грузинское явление. Ну да, прямо образец литературного старшего научного сотрудника в коммерциализирующемся обществе. Образец переходного состояния России... Все эти господа принадлежат здешней локальной культуре, которая в данный момент меня не волнует. Когда возникнет что-нибудь самобытное, что касалось бы не только внутренних проблем России, что будет интересно человеку любой расы, любого вероисповедания и образа жизни — я сниму перед этим писателем шляпу. Пока что все закончилось господином Чеховым. — Ну-у... Татьяна Толстая прекрасно пишет. — Возможно. Но, говоря по-«советски», это все ваши люди. Татьяну Толстую не будут читать английские люди. Она ничего не скажет ни немцу, ни японскому интеллигенту. В то же время Антон Павлович продолжает говорить много всего разным расам, народам и сословиям. — Есть ли, по-вашему, сейчас в России фигура — не важно, писатель, музыкант ли, философ или священник, — кто мог бы выйти на этот глобальный уровень? — Нет. Последней такой фигурой был Иосиф, которого я безумно люблю. — Бродский? Вы были знакомы? — Заглянул. Но я боялся личной встречи, чтобы друг другу по морде не надавать. Потому что очень мы оба резкие господа. — Я так полагаю, что у вас жена сейчас японка. Ну и как вам Япония? — С Японией у меня самые нежные отношения. — Вы с женой на каком языке говорите? — На трех. — Неужели и на японском? — О самом дорогом и интимном. У меня и первая жена, кажется, была японка. — А Наташа эта самая была вторая, а теперь третья опять японка? — Четвертая. — Осталось выяснить, какие у вас регалии, тут тоже как-то путанно. — Государственные регалии я отвергаю. Это касается английского звания «сэр», немецкого креста «Бундескрюйзе»... — А что, предлагали? — Намекали недвусмысленно. А здесь в 1989 году в последнюю минуту мне удалось отказать от звания заслуженного артиста РСФСР — остановить это на уровне Верховного Совета. Мое длинное объяснительное письмо с аргументацией, наверное, до сих пор еще лежит где-нибудь в архиве. Для меня самая большая награда — слезы или улыбка людей, которые меня слушают. Пусть даже их брань, все равно это очень мило. Вот сейчас я играю уже восемь месяцев нон-стоп. Сыграйте 88 раз подряд — и я посмотрю, какие у вас будут дивизы в глазах. — Ну зачем уж так отказываться от наград? Пусть вам и дальше дают и звания, и премии. А призы у вас все-таки есть какие-нибудь? Говорят, вы получили что-то вроде «Оскара». — Призы у меня есть все — от «Грэмми» до «Граммофона». А «что-то» вроде «Оскара» — это большой гуманитарный приз «Лайфтайм Эчivement» — за достижения всей жизни. Это такая золотая фигура с лавровым венком. Его присуждает Кембриджский университет совместно с американским Биографическим институтом и разными гуманитарными организациями. Это очень трудно получить, это считается большим почетом. И еще у меня целый ряд наград («Лучший артист года», это такая большая золотая сфера весом в два с половиной килограмма. Я использую призы утилитарно. В качестве пресс-папье. «Энциментом» придавливаю шаашлык в маринаде. Больше он ни на что не годится. — Встречалась Наталья ЗИМЯНИНА